

— Чего карболку зря переводить, — рассудил розовощекий завхоз. — Эти ложки в описи не значатся. Я получаю их без расписки в бараке выздоравливающих.

— Делайте как знаете, — сказал Шаткин. Сердито посмотрел на завхоза, потом на меня, повернулся и ушел.

Что он недолюбливает завхоза, я знал давно, потому что он считал, что тот виноват в скудном питании. Поэтому когда у него появлялось немного денег, Шаткин получал что-то вроде жалованья, он на свои деньги покупал в ларьке компот для Приветова и других тяжелых больных. Его месячного жалованья хватало на шесть банок компота. Немного все же оставлял на папиросы.

ЖЕЛТЫЕ МАКИ

Вот и желтые маки никак не могу забыть — куда бы ни пошел, заставляют вспомнить. Может, если расскажу о них, — они скорее исчезнут. Ведь по желанию можно только вспомнить, сознательно забыть — увы, не получается.

Доктор Баев дважды записывал меня в больные, когда я уже был здоров. В третий — не получилось, и меня увезли из Норильска-2, где были люди, к кому я привык и кого уважал, и край, которым любовался и полюбил бы, если бы попал сюда свободным охотником, путешественником или геологом — на эту землю с желтой и бесцветной рудой и лунным ландшафтом. Сюда, где рождается ветер, и его колыбель плывет на юг, окутанная вуалью зеленых и серебристых девственно-чистых облаков, где сверкающие органные трубы северного сияния возникают и исчезают беззвучно или с таким звуком, что нам не услышать. И я должен был расстаться с поэтом, имя которого укрыли незабудки и фиалки, и вместо имени в моей памяти остались только обрывки его стихов.

Wär ich ein freier Mann
lieben möcht ich Dich Norden
verliebt möcht ich freien um Dich...

doch unfrei kommt kein Freier
und der Häftling haftet in Hass

Darum träumt es mir von milden Hügeln
der Heimat
und Weinblätter, die erröten
wenn der Finger des ersten Frostes sie berührt

Hier errötet nur der Schnee
wenn neue Sonne zum ersten male sie betastet,
und gleich sich verbirgt...
weil wir da sind: ist es die Schamröte der Welt...*

Незабудки, клюква и на голом глинистом холме перед
штольной желтые маки. Желтых маков я в других местах не
видал.

Я вернулся на большую стройку. Но мне повезло, мне еще
раз помог Норильск-2, вернее то, что я работал там санитаром
под началом Баева. Врач лагеря «Кирпичные заводы» сразу же
взял меня санитаром.

Этот доктор тоже был неплохой человек, это было видно
уже потому, что он уважал Баева. Но все же он был другой. Не
рисковал собственной шкурой, как Баев, который пошел тол-
кать вагонетки, но не потерпел, чтобы начальник «Угольных
шахт» указывал, сколько процентов людей может быть боль-
ными. Честно говоря, этот доктор и не мог бы пойти на такое.
В Баеве командование само нуждалось, и, конечно, он вскоре
снова получил работу врача. А если здешнего нашего доктора

* Если б я был свободным,
я мог бы тебя полюбить, Север.
Свободным, я бы влюбился в тебя...
Но лишенный свободы — не свободен,
И в узнике клокочет ненависть...
Оттого я тоскую о пологих холмах моей родины,
о виноградниках,
где краснеют листья, тронутые первым морозцем...
Здесь краснеет лишь снег, когда солнце впервые коснется его
и скроется тотчас...
То, что мы здесь, — это краска стыда всего мира...

хоть раз поставить к вагонетке или дать ему лопату в руки, то вряд ли он снова стал бы врачом. И тогда конец улучшенному больничному питанию, отдельной спальной каморке, книжкам — да и сил и времени не будет, чтобы их читать. Не будет санитаря, который немного и обслуга. Конец предупредительности начальства, которое обращается к нему за медицинской помощью (да и перевод в более благоприятные климатические условия в первой инстанции рекомендует врач-заключенный). И свободному передвижению. И рецептам на неразбавленный спирт из аптечки... И тому, что в буран не нужно выходить на улицу... Но даже и для того, кто способен отказаться от подобных привилегий, сама возможность работать по специальности, не терять квалификации — большое физическое и духовное облегчение. В этом смысле большинству врачей и строителей везло. Горным инженерам — всем. А из инженеров-машинистов — только тем, кто посмекалистей. А уж из бухгалтеров — только тому, кто уж очень смекалист. А вот плотники все остались плотниками. Плотником мог стать и тот, кто с грехом пополам умел обтесать бревно и, разумеется, взвалить его на плечо. И портному жилось неплохо, если он пользовался расположением хотя бы низшего начальства. И... Но я сейчас заметил, что все было так же, как и везде на белом свете. Так что уж об этом рассуждать...

Нашего доктора полагалось величать главным врачом. Закончив прием больных, уже поздно вечером, мы приступали к самому трудному делу. Просматривали списки освобожденных от работы и вычеркивали фамилии, чтобы больных было не больше, чем допускал «процент». Кроме тяжелых больных с высокой температурой всегда были такие, которым нужно было помочь, дав денек-другой отдыха. Таких было очень много. Я должен был следить, чтобы тот, кого вычеркнул доктор, через пару дней получил освобождение. Мне нужно было помнить о них, ставить того, кто поскромнее, впереди. Но симулянтов тоже нельзя вышвыривать, им тоже нужно жить. Сложные задачи... Когда мы занимались этим, наш доктор вел себя вполне прилично, был не прочь поговорить со мной. Конечно, не так, как Баев. Этот доктор всегда соблюдал дистанцию

между собой и санитаром. А потому и я смотрел на свое новое начальство глазами подчиненного и соответственно оценивал. Это был приземистый смуглый человек с маленьким ртом. Не очень умный, да и как врач в лучшем случае средний...

Хуже всего приходилось нам в конце месяца, когда мне нужно было составлять статистику. Освобождение с грехом пополам можно было дать только тяжелым больным. В таких случаях доктор был покладистее, даже совета у меня спрашивал. Как раз в таком неприятном положении мы были, когда пришла разнарядка, по которой тридцать человек с «Кирпичных заводов» можно было отправить на отдых в Норильск-2.

Мы быстро составили список. Конечно, мы могли бы вписать и сто фамилий, но и это было немало — освободиться от тридцати человек, у которых не было температуры, но которые, тем не менее, были больны. С готовым списком я быстро обошел бараки и велел тридцати отобранным счастливицам идти в медчасть.

Больные, все до одного, думали, что такое великое счастье им привалило благодаря хорошему отношению доктора и протекции его помощника, санитаря. Ведь больной хоть и знает, что болен, но все же не считает себя уж очень тяжелобольным, потому что чуточку симулирует. Постанывает, если у него ничего не болит, и орет, если чувствует малейшую боль, — это, право слово, всего лишь законная самозащита. Если бы он был дома, думает он, то мог бы работать, ради семьи, ради самого себя, занимался бы своим делом, на своем привычном месте. Понятно, дома он бы не болел. А если чуток прихворнул бы, то быстро поправился...

Вот так отнеслись к своей удаче двадцать девять из тридцати. Но был один, который категорически заявил:

— Не поеду. Не хочу я отдыхать.

Этого больного звали Иван Латышев.

Двадцать девять человек вышли из кабинета, а этого одного мы задержали.

Иван Латышев, плотник, был крепко сбит, голубоглаз, с сильными руками и светлыми усами. Руки, плечи у него

мускулистые и спина сильная, только оттого, что постоянно приходилось поднимать бревна, немного сутулая.

Лицо — бледное, зеленовато-желтое. От малейшего волнения он мгновенно краснел. Даже просто взглянув на него, я видел, что у него тяжелый порок сердца, да и из истории болезни знал. Но, не в пример другим, Латышеву и самому это было прекрасно известно. Но тогда почему же он все повторяет:

— Здоров я. Не хочу ехать отдыхать.

Доктор посмотрел на него, вытянув трубочкой губы.

— Странно, видите ли, — сказал он тонким голосом. — Сейчас еще только середина месяца, — и он постучал карандашом по стеклу на столе, — а вы уже шесть раз просили, — он сделал паузу и перелистал бумаги, — и четыре раза получали освобождение от работы.

— Ну да, доктор... но сейчас я чувствую, что могу работать... и уж если не поеду туда, то, может, опять денек-другой...

— Поймите, мил человек. — Если доктор обращался к кому-то «мил человек», это означало, что терпение у него на исходе. — Поймите, мил человек, если я освобождаю вас от работы, то вместо вас должен выйти кто-то другой. Кого тоже побережь нужно! Вы же не ребенок, не с луны свалились, сами понимаете, как дела делаются.

— Да уж, процент да показатель — от всех болезней врачеватель, как говорят у нас в бараке.

— Вот именно! И поэтому — Норильск-2. Там нет этих пресловутых процентов, которые вы так часто поминаете. Там все чохом освобождены. Там разрешение нужно, чтобы работать. Идеальные условия. Спросите санитаря, — он кивнул на меня.

Я подтвердил слова доктора: «Жратвы в два раза больше, чем здесь, и в десять раз лучше. И Баев! Уж кто-кто, а Баев тебя вылечит. Другой доктор тоже хороший, Шаткин. Его тоже не бойся. Он, правда, ругается по-страшному. Но знаешь, у нас на Севере и ангелы небесные матерятся».

Латышев остановил меня, махнув рукой. Да и доктору не понравились мои слова. Я почувствовал это, но, так как оба молчали, я вынужден был продолжать. Только попробовал зайти с другой стороны.

— Там деревья есть, такие, которые можно называть деревьями. Однажды мы нашли одну лиственницу и посчитали годовые кольца. Я четыреста лет насчитал. Она раньше Ермака родилась, а ведь с него началось покорение Сибири. А как-то раз мы нашли березу толщиной с бедро взрослого мужчины. Вытесали из нее искусственную ногу одному шахтеру. Очень хорошую! И ветра нет... Почти нет, — поправился я. — Что тут говорить, прямо дача.

— Знаю, — тихо ответил Латышев. — Не поеду. — Уголки рта у него дрожали.

— Когда ты там был, наверно, еще не было ни Баева, ни Шаткина, — я посмотрел на доктора, — и главное, поваром был не Ташкевич, не Иван Осипович.

— Нет, не он. — Дрожащие губы Латышева скривились в улыбку.

— Ну, хватит, — сказал нетерпеливо доктор. — Подумайте до завтра. Там еще кто-нибудь есть? — обратился он ко мне.

Я отправился в барак поговорить с Латышевым. Репутация моя в народе была неплохая, хотя до Шаткина (а он тогда был моим идеалом) мне было далеко и по части добрых дел, и по части ругани. Корни моей популярности (что часто бывает и у политиков) крылись в недостатках моих предшественников. Дело в том, что санчасть ежемесячно получала шестнадцатилитровый, а то и двадцатилитровый бидон рыбьего жира. И я давал его всем, кто ни попросит, полагая, что это никому не повредит, а кому в охотку, даже на пользу будет. Давал рюмками, ложками, а кто мог выдержать, целыми стаканами. Без лишних церемоний и назначений врача. А мой предшественник менял рыбий жир. Приторговывал малость санитар. К чести нашего доктора, надо сказать, недолго. Как только выяснилось, что он спекулирует, в руки ему вместо ложечки для лекарств дали кайло.

Когда я вошел в барак, Латышев кормил своих ручных белых мышей. Заметив меня, он поднялся ко мне навстречу, подвел к своей койке и усадил на край. Рядом две мышки спокойно лакомились хлебной коркой.

— Побывать немного в Норильске-2 тебе не повредило бы, — заговорил я, ведь я и на самом деле желал этому чело-

веку добра. — Наловишь там много птиц силками из конского волоса.

— Пусть живут, — покачал головой Латышев.

Я подосадовал на свою неловкость. Мог бы догадаться, что он любит только живых зверей. У меня всегда так получается, когда пытаюсь «поддержать разговор», а не прямо говорю, что думаю. Но, коли уж так неуклюже начал, я невольно продолжал болтать. Хотя мог бы понять, что это вряд ли интересно Латышеву, я продолжал:

— Однажды мы нашли на берегу реки идола. Топором его, видать, вытесали. Я хотел было забрать его с собой. Да беда была в том, что дерево было очень сухое, и бригадир кинул его в костер. То же случилось и с тунгусскими санками. Правда, они все равно были сломаны... — Я замолчал. Латышев не отвечал. — А какие там растут цветы летом, — я сделал еще попытку. — Шиповник, желтые маки, — у меня уже на языке было «незабудки», но я не произнес этого слова, — и клюква, и вкусные синие ягоды, не знаю, как называются...

Латышев все не отвечал. Я зашел с другой стороны.

— Когда мы туда попали, в первый день мы даже воды не нашли. А под конец воды даже не пили. Из остатков хлеба Иван Осипович квас делал. Вкусный, кисло-сладкий квас. Чудо что за повар! Не просто швыряет хорошие продукты в котел как попало. Заботится, чтобы вкусно было. Он не ворует, а за комендантом Шаткин приглядывает. Там, брат, порядок...

— У меня там кусок в горло не полезет, — вдруг сказал Латышев. — Эх, бросьте! Не поеду. Хоть в карцер сажайте, все равно не поеду. И насильно меня туда не загоните.

— Послушай, Латышев, — спокойно сказал я, — карцером тебе никто не угрожает. Не понимаю, чего ты нервничаешь. Палкой в рай не загонишь. Я пришел, чтобы еще раз объяснить, что уже сказал доктор. Каждый день освободить тебя мы не можем. Не только тебе нужен отдых. А теперь доктор может и рассердиться. Вот это я и пришел сказать. А ты, черт тебя знает! Будто мы враги тебе. Не понимаю, почему...

— Понимаешь, не понимаешь, все едино. — Лицо Латышева стало совсем зеленым, глаза светились стеклянным блеском. Колени тряслись так, что все время стукались о мои. Я испу-

гался, как бы у него не начался тяжелый сердечный приступ. Я молча наблюдал за больным человеком и оглядывался, ища помощи, если придется нести его в лазарет.

Через две-три минуты Латышев заговорил.

— Выйдем во двор, — сказал он, тяжело дыша.

Я взял его под руку, мы вышли. Латышев дышал открытым ртом. Осторожно посмотрел вокруг.

— Идем сюда, — показал он на бревна посреди двора.

— Смотри, не замерзни, — сказал я. Совершенно напрасно, так как было не холодно.

— Был я там, — начал Латышев, когда мы сели. — Три месяца. Триста грамм хлеба, пол-литра воды. Ходить мог, только держась за стенки да хватаясь за дверные ручки

— Но...

— Знаю, — перебил он. — Но сейчас я и те триста грамм не мог бы съесть. Не мог бы! — Он тяжело вздохнул. — Рассказать?

— Расскажи.

— Я еще никому этого не рассказывал, никогда. — Он пристально посмотрел на меня. — Если кто узнает, то только от тебя. — В его словах звучала чуть ли не угроза. — Рассказать?

— Я секретами не интересуюсь. К чему они мне? Дело твое.

— Я расскажу.

— Беды от этого не будет, но, — я взял Латышева за руку, — но лучше шел бы ты в барак. В другой раз расскажешь. Тебе лечь нужно. Довольно мы посидели. Я уже чувствую, бревна холодные.

Но Латышев будто не слышал.

— Самая большая моя болезнь, — начал он, — что я каждую ночь просыпаюсь и чувствую: вот-вот разорвется сердце. Во сне слышу, как лает большой пес из Норильска-2. Его лай... рассказать о нем нельзя. Почти не бывает ночи, чтобы я его не слышал. Там мы его слышали въявь, каждую ночь: с этого начиналось. Начинает лаять, скулить, выть. Потом скрип шагов по снегу, открываются двери. Шаги мы слышали только в тихую погоду, а лай — каждую ночь... Потом, через некоторое время, выстрелы, а потом опять лай собаки, но уже совсем другой. Хриплое тьявканье. А потом, когда, наверно, зарыли

всех убитых в тот день, наступала тишина. И весь день тишина. А ночью опять...

— Что?

— Расстрелы.

— Где? — недоуменно спросил я, потому что от слов Латышева картина для меня не прояснилась. И хотя я понимал, что лучше не спрашивать, прибавил: — Там, во дворе? — Потому что мне это казалось невероятным.

— Не во дворе. В большом бараке.

Я содрогнулся. Ведь я жил в том бараке, там мы провели первую ужасную ночь. Но следов ничего такого в бараке заметно не было. Сейчас расспрашивать нельзя, может, все это просто его больная фантазия, нужно его успокоить.

— Сейчас в большом бараке живут выздоравливающие. Режут деревянные ложки, и все такое. Домино. А больше сами играют в домино, потому что норм нет.

— А напротив? В бараке поменьше?

— Там лазарет для тяжелых больных. Я сам был там санитаром.

— На окнах толстые железные решетки?

— Железные решетки? Нет там никаких решеток. Может, были когда-то, не знаю. Там и сейчас валяются какие-то решетки под окнами. Даже унести их не удосужились. На кой черт там нужны решетки.

— Я тоже был в малом бараке. По коридору налево, во второй камере.

— Во второй? Это теперь амбулатория.

— Мы были чаще всего вчетвером-впятером. Потом ночью приходили. Когда одного уведут, когда двоих, а кто остался — ждет, кого уведут в следующую ночь. Потом перерыв, пару дней никого не уводят. А потом за одну ночь сразу троих. И каждую ночь ждешь... От нас даже не скрывали, что пути назад нет. И мы этим же встречали новичков... А вохра? Они тоже боялись. Они тоже думали, что станут последними. Они были совсем отрезаны от внешнего мира. Шоферы или трактористы останавливались в километре от барака, там сбрасывали на снег хлеб и провизию для вохры. И охрана приносила все это только тогда, когда трактор был уже далеко. Там, должно

быть, был какой-то щит или знак, или что-то вроде того... Нас тоже конвоировали только до этого места, а потом показали: «Вон там барак, идите туда».

— Ну а документы?

— Чего не знаю, того не знаю, зря говорить не стану. Одно точно: объявляли новый приговор. Бывало, что и на допросы водили, но мало кого. А охранники всегда одни и те же. А ведь в других местах их постоянно меняют, переводят. Чтобы с заключенными не спелись. Будто здесь такие предосторожности ни к чему были. Охранники считали это очень плохим знаком, нервничали.

— В тридцать девятом, когда мы там оказались, — недоверчиво сказал я, — бараки были нежилыми, уже давно. Ты когда там был?

— Не так давно. Весной тридцать восьмого... — Латышев пригладил рукой усы. — Да, может быть. Все вдруг кончилось. Я был в камере один. Других заключенных не приводили. Но вохра еще была, и пес во дворе. Потом не стало слышно шагов в коридоре, перестали приносить еду, воду.

— Сколько времени это продолжалось?

Вместо ответа он покачал головой.

— Взломать дверь камеры ты не пробовал?

— Взломать? Да если бы мне кошка прыгнула на плечо, и та повалила бы. А пес скулил и выл под окном каждую ночь. И из-за него я бы не решился выйти. А что, если он уже попробовал человеческого мяса...

— Брось! Что за фантазии. Ты здесь, жив, освободился оттуда. Не преувеличивай. Лучше, если мы уж заговорили об этом, расскажи, как ты оттуда вышел.

— Не знаю. Только помню, что кто-то меня ощупывает, чувствую, что под рубашку залезла холодная рука. Только здесь, в больнице кирпичного завода, пришел в себя... Хоть доктора спроси. Другие больные потом рассказывали, что у меня была сильная лихорадка, меня едва могли удержать в кровати, и я кричал. Кричал: «Стреляйте! Чего ждете! Зачем мучаете!» И кто знает, что я еще говорил. Не имеет значения! Что угодно мог наговорить, не в себе был. Понимаешь, не в себе я был.

— Ну конечно.

— Я один остался в живых. Со временем это мне удалось узнать.

— А охрана? Думаешь...

— Этого я не смог узнать. Может, что-то такое было, кто это расскажет, кто посмеет такое спросить? Но я думаю, они ушли, а пес не захотел с ними идти. Потому что он одичал. Привык к месту. А меня оставили там. Я, наверное, был без сознания. Спешили, небось, никому не хотелось там ни на минуту задерживаться. Может, обо мне приказа не было. Такое человеку никогда не узнать. Сюда, на кирпичный завод, я случайно попал. Это больные рассказали, ну, то, что меня принесли какие-то геологи, отыскали где-то... Я-то знаю, где нашли, они, геологи эти, видно, забрели туда, когда искали место для ночлега. Охраны никакой... Должно быть, так было. Прости их Господь, они добра хотели.

Латышев замолчал. Я посмотрел на него. Лицо у него побавровело, потом неожиданно стало бледным до зелени. Моей первой мыслью было отвести его в барак, пока не начался приступ. Но может, лучше переключить его внимание, заговорить о другом, успокоить. «Что бы такое сказать?» — спросил я самого себя. Не говорить же о бессмертии майских жуков, я и так достаточно глупостей наговорил. Нужно направить разговор в каком-то естественном направлении, которое постепенно отвлечет его от Норильска-2. Может, сначала спросить о том, что там было, но лично его не касалось?

— А где же хоронили всех этих несчастных? — поинтересовался я, как бы желая дать понять, что он жив, что этот ужас уже в прошлом. Пусть осознает, что между той историей и нами, между тем, что сейчас, и мертвыми уже никакой связи. — На кладбище, — продолжал я, отчасти потому что сомневался, а отчасти желая оправдать свой интерес, — когда мы туда пришли, мы нашли могил десять, от силы двенадцать.

— В песчаном холме перед штольней, — ответил Латышев, мучительно потирая лоб. — Иногда там насыпали так мало земли, что пес выкапывал тела. Тогда нас выгоняли, чтобы набросать еще немного земли с вершины холма.

Я чуть было не спросил, занимался ли он сам этой работой. К счастью, вовремя остановился: спрашивать такое было бы большой ошибкой.

— Хм, — пробормотал я, — там под старой штольней?

Латышев ответил не на это.

— Охрана непрерывно пьяная была... Да кто бы выдержал трезвым... Пятьсот, может, шестьсот мертвых лежит там, под отработанной глиной. И еще одно кладбище должно быть... где-то подальше. Там тоже, наверное, столько же. Те, кого привезли раньше, знали, сколько было до них, и каждый вычислял, которым по счету он будет...

Я положил свою руку на руку больного человека:

— Теперь я все понимаю. Ладно. Ты рассказал. И хватит. Не будем подсчитывать, нет смысла. Подумаем, что нам сказать доктору. Чтобы он не рассердился. Ведь он, и правда, желал тебе только добра... Как мы ему объясним?

— Уж не собираешься ли ты рассказать? — уставился на меня Латышев. — Я все буду отрицать! Смотри!

— Что ты, что ты, Латышев. — Я потрепал его по колену. — Я никому не скажу.

— Ни слова?

— Ни слова.

— Никогда?

— Ну, конечно, никогда. Или, скажем, — я попытался пошутить, — лет через двадцать. Через двадцать лет можно?

— Ну, через двадцать можно, — улыбнулся Латышев. — К тому времени и наш прах ветром развеет.

— Ошибаешься, брат! Мы сохранимся как мамонты. Как они здесь, в вечной мерзлоте... Мы сохранимся и через сто тысяч лет. Как сорванный с грядки огурчик. Ну? — Я думал, что лучшей шутки я и придумать не мог бы, но Латышев помрачнел.

— Я хочу дома истлеть, на кладбище, — тихо сказал он. — Деревня, где я родился, в сорока километрах от Смоленска... Конечно, чепуха все это. Если хочешь, я поеду туда. Хорошо?

— Нет! Против воли не нужно. Предоставь это дело мне, я все улажу с доктором. А теперь отправляйся в барак. И пусть тебе приснится что-то более толковое!

Мы пожали друг другу руки. Все еще чувствовалась твердая рука плотника, привыкшая к топору.

— Доктор! Вычеркните Латышева из списка, — сказал я вечером, когда мы покончили с делами и я принялся за уборку.

Доктор скрупулезно следил, чтобы я не переступал за положенные санитару рамки. Он неодобрительно взглянул на меня.

— Простите! То, что я скажу, — слова обычного человека, мои слова не имеют медицинского смысла. У этого Латышева, как бы сказать, что-то вроде боязни пространства. Или просто истерика. Простите, это лишь слова, которых я здесь понабрался. Не диагноз... Но думаю, дело гораздо проще. Дело в том, что Латышев боится, что выздоровеет, окрепнет, и тогда его отправят на строительство дороги, на земляные работы или в шахту. Ведь вы сами, доктор, говорили: «Кто привык к больнице, боится выздороветь». Это как раз случай Латышева.

— Да, — гнусаво сказал доктор, — только в случае Латышева для этого страха, — и он бросил инструменты в сияющий никелированный стерилизатор (стерилизовать их было моей обязанностью, после того, как он уйдет), — нет никаких оснований. — В стерилизатор со звоном полетели новые инструменты. — Совершенно никаких. Я вынужден буду объяснить этому несчастному по крайней мере то, что он балласт на счету медчасти. Вызовите его на завтра.

— С вашего разрешения, я приватно уже поговорил с ним, ведь я могу ходить в бараки. Я попытался объяснить ему на своем примере: я ведь тоже был болен, и так далее, и тому подобное...

— Ну и что?

— Результат — ноль. Поэтому я и позволил себе это выражение: истерика. Но у меня есть одно практическое предложение. Если вы позволите...

Доктор прищурился за стеклами очков. С насмешкой на лице, с преувеличенной вежливостью, прижал руку к груди, а затем описал ею полукруг и, как будто чем-то угощая, протянул мне пустую ладонь.

— Ну-с!

— По-моему, не стоит настаивать. Нужно включить в список Гришу, нашего истопника. В последнее время он много кашляет. Парень это заслужил.

— Если он кашляет, то почему об этом известно только вам? Почему он не пришел в медчасть на прием?

— Потому что он тоже боится потерять работу. Истопнику в медчасти неплохо живется. Только и всего.

— Ну, наш Гриша останется у нас, — улыбнулся доктор.

— Именно поэтому временно, пока Гриша не вернется с отдыха, поставьте Латышева истопником. У нас в медчасти ему освобождение не понадобится. Всегда найдется кто-то из выздоравливающих, кто поможет, если он сам не справится...

— Ага, эге. Идея неплохая. Совсем неплохая. Я тоже заметил, что у Гриши иногда взгляд лихорадочный. Вы говорите, он кашляет?

— Кашляет.

— Решено. Дайте-ка мне еще раз этот список!

Латышев не поехал посмотреть на тот холм под штольней. Не узнал, что там уже растут желтые маки. Об этом знаю только я — вот уже двадцать лет я вижу эти маки и Латышева, всегда, всегда...

А те, кто там? Лежат так, как застала смерть? Царство вечного холода не дает им истлеть?

Так вот... То, что видел там я, и то, что испытал этот горе-мыка, совершенно не совпадает. И не совпадает с рассказом Латышева то, что мне удалось разузнать позже, осторожно расспрашивая других. Но если лишь малая толика того, что он рассказал, правда... Маки я и сам видел.

ЛЕСНЫЕ КАРТИНЫ

1. Серна, человек, собака

Хрустнула сухая ветка, где-то совсем близко. На лесной поляне неподвижно стоит серна и смотрит на меня своими